



Проза



НИКИТА АВРОВ
Прозаик

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Внук комиссара, правнук священника
Вступительная статья

Автобиографический рассказ Никиты Аврова «Годен к нестроевой», публикуемый в настоящем номере альманаха, отличается хорошим слогом, критичностью мышления и скрытой энергией автора. Последнее свидетельствует о том, что слово рвется наружу, — значит, душа хочет высказаться. Поистине человеку с такой биографией есть что сказать...

Он родился в 1955 году в Ленинграде на Пушкинской улице в отдельной четырехкомнатной квартире, — нет в нашей стране человека, который бы не смог оценить достоинств такого места рождения. Отец — филолог, философ, театровед; долгое время преподавал эстетику в Высшей школе милиции. Мать — литературовед, работала в издательстве «Недра».

— Я всегда не понимал в детстве: почему мои родители, занимая хорошее положение в обществе, нищенствовали? Мои родители были самыми бедными среди семей класса, где я учился, — вспоминает Никита.

Его прадед по мужской линии — Авров — служил священником в Мордовии, о его судьбе ничего не известно. Зато о славе одного из двух сыновей прадеда — деда Никиты — позаботилось советское правительство: он был красным комиссаром Петроградского сводного полка и захоронен на Марсовом поле. Теперь его именем названы улица в Петергофе и фабрика в Волхове.



Сыну прославленного комиссара — Дмитрию — известность собственного отца ничего не дала, — ну, разве что пригласили преподавать в Высшем военно-политическом училище на кафедре философии. Там ему, капитану запаса, сразу предложили звание полковника и квартиру, если он «наденет погоны».

— Отец сказал: «Нет!» И с того момента стал для меня больше, чем отцом, — прокомментировал такой поступок Никита.

В дальнейшем наследственность в характере Никиты сыграет роковую роль.

Он рос гиперактивным мальчиком, бесконечно дрался, за что претерпевал жестокие наказания от отца. В 9 классе окончательно сбежал из дома с геологами.

— Я понял, что это мое призвание. Но тут мне не хватило целеустремленности довести дело до конца. Когда я представил, что мне надо будет закончить 10-й класс в вечерней школе, устроиться куда-нибудь на работу, поступить на географический факультет и только через 6 лет закончить его, то понял, что для меня это нереально, — я всегда жил по инерции одним днем. Так я связался с дурной компанией, — иронично замечает Никита.

В 18 лет он попадает в тюрьму на пять лет за грабеж. Отсидел полностью, что в практике первого уголовного наказания нечасто встречается. Потом другие судимости «по инерции». В общей сложности 16 лет он отсидел за грабежи и разбой и считает, что этот опыт ему многое дал в жизни.

— Варлама Шаламова спросили: должен ли мужчина отсидеть в тюрьме? И он, не задумываясь, ответил: пять лет, а лучше — десять... Я тоже так считаю: или армия, или тюрьма мужчине необходимы, — смеется Никита. — С другой стороны, тюрьма человека не меняет.

Освободившись в последний раз в феврале 1992 года, он пережил самый страшный год своей жизни. Не задумываясь ни о чем серьезно, принял крещение: — «Отрекаешься ли от сатаны?» — «Отрекаюсь!» И почти сразу же влился в ряды «славного казанского воинства», в бригаду, «курировавшую» в те времена Купчино.

— Состоял чем-то вроде телохранителя сестры одного из предводителей. Кстати, в недавнем прошлом — майора угрозыска. Через полгода сделалось страшно, ушел, — пишет в одном из писем Н. Авров.

Причина этого страха кроется в особом случае. Никита органично влился в криминальную среду, полулегально правившую городом. Ему было поручено заказное убийство. Опять «по инерции» он согласился. Взял деньги, оружие, но заснуть в ночь перед преступлением не смог. От ужаса, который покрывал его волнами, он просыпался, и холодный пот шел градом. «Я хочу все узнать о своем прадеде, священике. Может, он — новомученик, и его молитва так сильна!.. Я чувствую помощь, без которой необъяснимо то, что со мной происходит с 93-го года», — размышлял Никита.

Убийства человека в тот раз он так и не совершил. Мутным, похмельным февральским утром Никита Авров пришел в Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры, чтобы узнать: «как можно попасть в монастырь»? Как это по-русски!

И в самом деле, куда идти вставшему на путь покаяния разбойнику? Романтика разбойничьей жизни в определенный момент исчезает. Путь к покаянию, то есть к изменению сознания, — открыт. Тюрьма лишь остужает молодецкий пыл. Монастырь же — это выход из тупика желаний для того, чья цель жизни не карьера, не слава, не счастье, а сама жизнь с ее могучим движением. «Вспомни, окаянный человек, как лжем, клеветам, разбою порабожен еси: душа моя грешная, того ли восхотела еси? — написано в покаянном каноне. — Того ли восхотела?»

И произошло чудо. Наместник Александро-Невской лавры отец Назарий взял рецидивиста со стажем в послушники без sacramентальной фразы «до первого нарушения». Первые два года, по определению Никиты, были самыми светлыми и чи-

стыми, наполненными покаянием, радостью свободного труда, молитвою. «Очень скоро и послушание, и молитва, и даже пение на клиросе сделались тем, чем и должны были сделаться, — крестной ношей, к чему я оказался абсолютно не готов, — пишет он в одном из писем к друзьям. — Я ведь сделал такое „одоление“ Богу, перестав калечить и грабить людей. А тут еще и трудиться приходится, и бороться...» Еще три года промаялся он в монастыре. И самовольно покинул его, сбежав в заброшенную деревушку на Псковщине, где в сельском храме требовался псаломщик. И опять душевного покоя хватило лишь на полгода. Вернулся в прежнюю обитель. А через год вновь решил попытаться пожить благочестиво в миру.

Приехал в Карелию. Устроился работать на пилораму. Получил комнату в общежитии. Вскоре познакомился с хорошей женщиной; крестил ее шестилетнего сына. Жизнь как будто начала складываться наконец. Но через четыре месяца и здесь «разочаровался, как институтка худая», — и ушел по-английски, оставив только записку. «И вот, когда я меньше всего ожидал, — тут и подкараулил меня бес, нашептав, что я уже достаточно проверил себя! Это, наверно, — в Карелии, когда благополучно наблюдал и сбежал, прикрываясь неизбывной тягой к истинной церковной жизни: мол, хватит метаться, ясно как день, мой удел — монашество», — с горькой иронией, спустя несколько лет, будет вспоминать об этом Никита.

Друзья, которые его хорошо знали, уговаривали не делать «этого», или подождать лет пять. Но он не послушал.

...Ночь после монашеского пострига по церковным правилам человек проводит в алтаре за чтением Псалтири. Никита признается, что молиться не мог. Одна мысль стучала у него в голове: что я наделал? В ту самую ночь, когда он в белой рубахе лежал распростертым на полу перед алтарем, — в эту самую ночь у него в Карелии родился сын, которого назвали Никитой. Узнает он об этом несколько месяцев спустя. Это мистическое совпадение предопределяет исход судьбы Никиты, прояснив картину его запутанной жизни.

— Однажды, ковыряясь на монастырских грядках, разом решил для себя, что больше так продолжаться не может, что лучше на Высшем Суде я буду предстать со страхом и трепетом и почти без надежды на прощение, как и подобает клятвопреступнику, чем предстать в мантии, от которой исходит смрад. Иногда я почти физически ощущаю этот смердящий запах! — такой приговор он вынесет сам себе.

В этой обнаженности перед лицом Божиим заключена большая сила, которую дает истинное покаяние, сила — изменить свое сознание, а значит, и жизнь.

От настоятеля монастыря, схиигумена, он услышал такое напутствие: «Если уходишь в мир не ради мирских благ, но чтобы воспитать в вере сына и жену, — это, возможно, когда-нибудь примирит тебя с Богом».

Случилось так, что за три месяца до возвращения Никиты в мир его ребенок погиб, упав спиной на небольшой камень, — нелепая смерть, умирал — мучительно...

«Наташа встретила меня почерневшей от горя. Я сразу четко понял, что никогда не оставлю ее!»

Это пронзительное признание Никиты звучит примирением его с самим собой.

Не так давно они обвенчались. Живут в Псковской области, в поселке. Как и все в нашей провинции — трудно. Одну неделю он работает на строительстве дороги через болото. Четные недели месяца живет в лесу, сторожит технику «от медведей и волков, ибо глушь несусветная». Приводит в порядок купленный деревенский дом. Заботится о приемных детях и жене. Есть время и место для молитвы. Дай Бог, чтобы это новое устройство его жизни ему больше никогда не наскучило.

Т. Ковалькова

Годен к нестроевой

Володьку Румянцева освободили от призыва на действительную службу. По состоянию здоровья. А так как по своему кругу общения и социальному статусу Володька был классическим шалопаем, — то есть принадлежал к той многочисленной и, надо признать, не самой лучшей части советской молодежи, представители которой уже в начальных классах травили анекдоты с сомнительным идеологическим подтекстом и с удовольствием смаковали слухи о некоторых пикантных немощах вождя мирового пролетариата, а те из них, кто, повзрослев, не сумел укрыться под благодатной сенью альма матер, грядущий призыв в несокрушимую и легендарную расценивали, скорее, как крах всех надежд, нежели почетную обязанность, и, как правило, горько запивали, — то событие это, безусловно, следовало отнести к категории эпохальных.

Сначала Володьке присылали повестки из военкомата, которые он, будучи по природе своей человеком бережливым и к тому же жившим в эпоху тотального дефицита (в том числе и бумаги известного назначения), аккуратно складывал в матерчатый мешочек, подвешенный на двери квартирного клозета. Конечно, никаким убежденным пацифистом Володька не был, как не был он и баптистом, а просто было ему откровенно лень отрываться от привычного состояния созерцательного безделья и тащиться рано утром на какое-то там освидетельствование.

Короче, однажды на рассвете в дверь их с матерью квартиры позвонили два милиционера и умыкнули Володьку в отделение милиции, где продержали в неведении до девяти часов, а потом на машине отвезли в военкомат и сдали с рук на руки плотному лысоватому майору. Тот долго кричал на Володьку, поминая все его родителей и почему-то еще белых медведей. Охрипнув и действительно нагнав на Володьку порядочно страху, майор сунул ему под нос круглый волосатый кулак, провел в коридор, где на расставленных вдоль стен стульях томились будущие защитники отечества, и велел ждать, когда вызовут. Помаявшись минут двадцать, Володька выбрался на лестничную площадку, спустился во двор и с легким сердцем отправился восвояси.

Через неделю Володьку доставил в военкомат уже лично участковый. И опять тот же лысый майор орал на Володьку и даже слегка потряс за лацканы пиджака, прохрипев при этом непонятное:

— На Диксон! На Новую Землю! В тундру, мать твою...

В не сильно отягощенной знаниями Володькиной голове возникали смутные ассоциации с чем-то героико-романтическим и возвышенным, и было не совсем понятно, почему лысый вкладывает в благородные эти понятия явный ругательский подтекст.

На сей раз при Володьке неотлучно находился участковый до тех пор, пока Володькину фамилию не выкрикнула девица в военном кителе с погонами, в кроссовках и с бантом.

Светлый просторный зал был в два ряда уставлен столами, за которыми помещались полтора десятка мужчин и женщин в белых халатах. Володьке

велели раздеться и поочередно принялись его обстукивать, прослушивать, мять, заглядывать в рот, глаза и даже уши, при этом слегка Володьку сконфузив, ибо ушей он не мыл дней пять. Вместе с голым Володькой от стола к столу путешествовал тощий журнал, в который каждый из врачей что-то записывал. За самым последним столом сидела тетка средних лет в очках, с сильно помятым смуглым лицом и пронзительным взглядом узких азиатских глаз. Сначала она безразлично, как и все, полистала Володькину медкарту из поликлиники, но вдруг, словно споткнувшись, замерла, бросила быстрый взгляд на Володьку, опять на стол, потом сняла очки, откинулась на спинку стула и снова впилась взглядом ему в лицо. В глазах ее читался живой интерес. Володьке сделалось не по себе, тем более что стоял он перед ней абсолютно голый, прикрывая обеими руками срам, как футболист в «стенке». Докторша велела ему одеться, кивнула на стул, еще с минуту помолчала, глядя на него все с тем же живым интересом, зачем-то снова надела очки и только тогда спросила:

— Расскажи мне, пожалуйста, Володя, при каких обстоятельствах ты в семьдесят пятом году попал в детскую психиатрическую больницу?

«Так она психиатр!» — озарило Володьку. И в ту же секунду он нутром, селезенкой понял, что именно от этой тетки с помятым лицом сейчас зависит, придется ли ему что-то менять в нынешней своей безмятежной и такой удобной жизни.

— Психопатия, — вспомнил он.

Она улыбнулась.

— Это понятно. А конкретнее?

— Ну, за побеги и так, вообще, — тянул Володька резину, мучительно пытаясь вспомнить, кого она ему так сильно напоминает.

— Ну, меня стесняться не нужно. Рассказывай все, с самого начала. Кстати, меня зовут Маргаритой Сергеевной, — она посмотрела на него через очки, тронула за рукав и ободряюще улыбнулась.

И в этот миг он вспомнил!

Лет шесть тому назад, когда Володька учился в седьмом классе, в их квартире появилась весьма неприятная и таинственная особа, которая задавала Володьке очень странные и, по его мнению, совершенно идиотские вопросы, а потом долго пила в кухне чай с вареньем и о чем-то шепталась с Володькиными родителями. Причем и повадками, и, что удивительно, даже внешне она сильно смахивала на эту самую Маргариту.

Здесь необходимо сделать небольшое отступление. Дело в том, что, несмотря на врожденную свою инертность и довольно жесткую воспитательную методику со стороны отца, рос Володька типичной шпаной. Школу он возненавидел сразу и навсегда. На уроках откровенно валял дурака и к седьмому классу успел сменить три школы. Жил он всегда легко, что называется — одним днем. Мог, например, запросто зашвырнуть в канализационный люк дневник с одной-единственной разнесчастной двойкой и легко соврать дома, что забыл дневник в парте. При этом Володька отлично понимал, что уже в ближайшую субботу обман раскроется и он будет подвергнут жесточайшей порке, между тем как двойка сама по себе грозила

максимум просиживанием штанов в воскресенье в родительской комнате над математическим задачником, под которым отлично помещался томик Стивенсона. Благо объем приобретенных за воскресный день знаний никак не проверялся, поскольку гуманитарий-родитель смыслил в математике едва ли больше самого Володьки. И все же к седьмому классу учение опротивело Володьке до предела. Именно тогда овладела им впервые смутная тяга к перемене мест и образа жизни. Володька решил на побег. Самый первый его демарш имел по крайней мере вполне конкретную цель: Володька решил податься в Таганрог, к дальней их родне по материнской линии, которые гостили прошлой зимой у них в Ленинграде и которых Володька не знал не только точного адреса, но даже и фамилии. Сняли с поезда Володьку в Бологом. Дома он был нещадно выпорот родителем, после чего затаился на три месяца.

В следующий раз Володька ограничил свои изыскания чертой города, был снова пойман ночью на вокзале и выпорот, но не угомонился и стал убежать уже просто так, из упрямства. Ночевал черт те где, шлялся по вокзалам, проникал с черного хода в кинотеатры и, прячась за портьерами, глядел по несколько раз одни и те же фильмы. Войдя во вкус, Володька с успехом стал подбивать на побегу одноклассников и однодворцев, чьи мамы приходили потом скандалить к Володькиным родителям, а своим чадам пророчили сакраментальное: «Будешь водиться с Румянцевым — кончишь колонией». Побегу его никогда большой продолжительностью не отличались, из чего можно сделать вывод, что тяги к бродяжничеству как к таковому у Володьки не было. Как правило, едва заканчивались деньги, конфискованные накануне очередного побега из родительских карманов, — Володька заявлялся к кому-нибудь из родни, которой было у них в городе пруд пруди, и врал, будто прислан на помывку — ванной у Володьки дома не было. В сущности, это означало сдачу на милость победителю, ибо недоверчивые родственники тут же звонили отцу.

Первое полугодие Володька завершил с четырьмя двойками в табеле. Отец, всегда полагавший ремень главным аргументом в формировании Володькиной личности, искренне считал, что делает все от него зависящее, и виноватил в Володькиной нерадивости преподавательский состав. Учителя, в свою очередь, упирали на то, что не бывает правил без исключений и едва ли целесообразно пытаться дотянуть Володьку до аттестата за восьмой класс.

Тогда-то и зародились в головах Володькиных родителей первые смутные сомнения в умственной полноценности их единственного чада, и именно тогда появилась в их доме та подозрительная тетка, решившая в конечном итоге Володькину судьбу: в обстановке абсолютной секретности, чтобы не спугнуть, решено было на семейном совете временно определить его в дом скорби. Недоброе Володька учуял уже в приемном покое детской психиатрической больницы на Песочной набережной, куда он был отконвоирован родителем морозным февральским утром.

Уже в первый вечер на новом месте Володька отличился, надерзив санитару — высокому, мрачно пьяному дядьке, и тот довольно сильно его побил, попинав даже, против всяких правил, ботинками. Таким образом, лечение

дало первый положительный результат, еще даже не начавшись: ночью, выплакав в подушку обиду за пережитое унижение и горькое чувство одиночества и покинутости, знакомое всякому пацану, против воли вырванному из привычной среды, Володька вдруг ощутил приступ невиданного здравомыслия, рассудив, что дурдом — это далеко не школа и даже не родная квартира, а как раз то место, где, согласно известной сентенции, ничто так не украшает человека, как скромность. Впрочем, благонамеренности ему достало всего на три дня.

Здесь следует уточнить, что собственно скорбных умом на подростковом отделении было всего пять человек, которые помещались в отдельной палате в самом конце коридора, именуемой «надзоркой». Прочие же сорок с лишком малолетних пациентов, за очень редким исключением, являли собой ярчайших представителей обширного подросткового сообщества, емко именуемого в народе шпаной. И определены все они были в дом скорби с одним и тем же смутным диагнозом — психопатия. Соответственно, и жили на отделении по законам улицы, и тот, кто с первого дня давал слабину, впоследствии неизбежно становился объектом самой жестокой травли. Верховодили на отделении двое: дебиловатый, мощный и необычайно прожорливый Толкачев и длинный, жилистый хохол Пилипенко.

— Ты где живешь, новенький? — подступили они к Володьке в первое утро.

— Далеко, — неопределенно ответил он.

— Ты что, — удивился Толкачев. — Физды хочешь?

— А ты хочешь? — дерзко ответил Володька, искушенным в уличных передрагах чутьем угадав, что после вчерашней стычки с санитаром получил право равного голоса.

Тут Пилипенко ткнул его костлявым кулаком в поддых, и Володька, задохнувшись и раззявя рот, сполз по стене вниз.

— Ты, новенький, лучше не борзей, — вполне дружелюбно посоветовал Толкачев и, врезав Володьке по макушке преобладающую «пиявку», добавил: — Дружить будем.

Тот пацан с несолидной фамилией Дюдин поступил на отделение двумя днями позже Володьки. Начала инцидента Володька не видел; он зашел в туалет, когда Дюдин был уже притиснут в угол и окружен плотным полукольцом. Никто, даже Толкачев, не решался ударить первым. Дюдин стоял в углу вполоборота, неловко прикрывшись локтем и всем своим видом выказывая полную покорность судьбе, не понимая, по всей видимости, что не может быть большего раздражителя для феномена детской жестокости, чем именно полная беззащитная покорность жертвы.

И теперь еще, по прошествии стольких лет, всякий раз цепенел Володька от жгучего стыда, вспоминая тот день, и мучительно и бесполезно пытаясь понять, что, какая жуткая бесовская сила заставила его тогда шагнуть вперед и коварно, снизу, изо всей силы ударить в лицо абсолютно беззащитного маленького человека, единственной виной которого было нежелание или неспособность жить по законам другого, видимо, совершенно чуждого ему мира.

По подбородку Володька не попал и вскользь, костяшками сжатого кулака пропахал снизу вверх по всей Дюдинской физиономии. Тот тонко вскрикнул, еще больше вжался в угол и закрыл голову локтями. Град ударов посыпался на него...

Спустя час все отделение было выстроено в две шеренги вдоль коридора, и Дюдин, водителем санитаром и дежурным врачом, уверенно указал на Володьку. Лицо его являло собой жутковатое зрелище, и у Володьки похолодел низ живота в предчувствии неизбежной расплаты.

Утром следующего дня, после завтрака, Володьке велели вместо учебных классов возвращаться в палату. Возле его кровати стояла цинковая ванна, из которой валил пар. Внутри ее, в горячей воде, пузырились простыни. Тут же угрюмо торчал санитар и нянечка, баба Катя, про которую говорили, что она работает на отделении уже тридцать пять лет. Руки ее были затянuty в длинные, до локтей, резиновые перчатки. Санитар велел Володьке раздеться догола и лечь в кровать, и тут же баба Катя споро и ловко, так что он и опомниться не успел, туго запеленала его в дымящиеся, огненно горячие простыни наподобие кокона. Сверху она набросила три шерстяных одеяла, а санитар еще и в трех местах крепко притянул Володьку полотенцами к кровати.

Оставшись один, Володька предпринял несколько отчаянных попыток освободиться от пут и, быстро убедившись в абсолютной их тщетности, едва не задохнулся от приступа дикого бешенства. Таким беспомощным он не чувствовал себя еще никогда в жизни. От бессилия он заплакал, тут же испугался, что слезы его заметит кто-нибудь из пацанов, и, чтобы дать выход бушевавшей внутри злобе, чувству горькой обиды на родителей, отдавших родное чадо на заклятие, и жажды мести неизвестно кому, Володька во всю мочь, срывающимся от злости голосом заорал:

— А в нашу гавань заходили корабли-и-и!

Головой он лежал к дверям и не мог видеть, что делается в коридоре. Он напряженно прислушивался и готовил себя к новым мукам, гадая, что теперь предпримут его истязатели: может быть, кляп в рот загонят? Однако никто не появился. Дохрипев свою песнь протеста до трагического конца, Володька почувствовал, как неприятно дряблеет обваренная кожа и от безразличности старался не шевелить даже пальцами ног. Чуть позже стала одолевать ломота в локтях и коленях, а еще через час ему стало казаться, что на грудь ему навалили огромный горячий валун, и его обуял панический страх, что он задохнется или сойдет с ума по-настоящему, если его немедленно не извлекут из этого пекла. На третьем часу экзекуции Володька позорно, в голос, запросил пощады. Это было тем обиднее, что сама экзекуция, как оказалось, и была рассчитана на три часа с небольшим.

На следующий день зловещее корыто снова торчало возле его кровати, а к концу недели Володька к процедуре настолько притерпелся, что чувствовал бы себя почти комфортно, если бы не боль в суставах.

В субботу его не трогали, а в воскресенье, после завтрака, медсестра Валя позвала его в процедурную и ввела в задницу жгуче-болезненный укол, после которого все тело будто налилось огнем и начало разламываться от боли, а через час круто подскочила температура. Просвещенные сопа-

латники безошибочно определили симптомы действия сульфазина, или, как они его называли, серы. Да кстати и заверили, что этим дело, скорее всего, не кончится — рукоприкладство считалось на отделении одним из тягчайших проступков. Круче обходились только с теми свободолюбивыми натурами, кто, вконец ошалев от буйного запаха надувшихся тополиных почек, призывного перестука трамвайных колес и звуков веселого шлягера, доносившихся из распахнутых окон соседнего с больницей дома, сигал через каменный забор прогулочного двора и как был, в байковых казенных пижамах и телогрейках, отчаянно несся по набережной до первого переулочка или проходного двора. Их, впрочем, никто не преследовал, а только звонили врачи домашним беглеца и ставили в известность милицию.

В мрачных же своих прогнозах сопалатники не ошиблись: с будущей недели Татьяна Викторовна, Володькин лечащий врач, назначила ему курс аминазина — сильного снотворного, после которого люто болела задница и каменели мышцы ног. Но главная каверза была в другом: после утреннего укола Володьку заставляли тащиться в классы или в кабинет трудотерапии, где малолетние дурики вязали сетки-«авоськи». Справедливости ради надо сказать, что учителя никак не возбраняли ему тихо кемарить за партой, подчеркивая этим, быть может, свое лишь косвенное отношение к советской детской психиатрии.

Однако во всяком деле все же важен конечный результат, а именно результат был налицо: уже через три недели после нехорошего инцидента с Дюдиным главным смыслом Володькиного существования, его, можно сказать, жизненной позицией стало страстное желание вязать «авоськи» лучше всех и быстрее всех, получить четверку по ненавистной алгебре и заслужить похвальный отзыв в дежурном кондуите от Васильича — самого пожилого и самого зловредного дежурного санитаря, ябедника, принцепала и патологического трезвенника, который фиксировал в журнале все, даже самые незначительные правонарушения, но, объективности ради, иногда упоминал и отличившихся в положительном смысле. Во время врачебных обходов Володька преданно заглядывал в глаза Татьяне Викторовне и холодел от страха, если ему мерещилась тень неудовольствия на ее лице. Словом, Володька сделался послушным маленьким животным (он даже покруглел и прибавил в весе), что, по всей видимости, отвечало каким-то критериям, определявшим стадию ремиссии у несовершеннолетних психопатов, и по прошествии трех месяцев со дня поступления Володька был отпущен домой. Стоял восхитительный, неповторимый ленинградский май, и уже через две недели Володька напрочь забыл и больницу, и недавних своих товарищей и, наверное, никогда и не вспомнил бы по замечательному свойству человеческой памяти предавать забвению все, о чем вспоминать неприятно, если бы не подошла пора призыва. Впрочем, бегать из дому Володька с той поры перестал и восьмой класс в следующем году закончил вполне достойно.

Конечно, пересказывая Маргарите Сергеевне сию горестную повесть, Володька старался обойти первопричину, то есть собственное разгильдяйство, и больше упирал на внешние факторы, как-то: пагубное влияние улицы, нежелание педагогов в школе понять всю сложность его натуры и, нако-

нец, деспота родителя. На всякий случай он даже накатил бочку на родного папашу, который два года назад обзавелся новой семьей (здесь Володька лицемерно вздохнул, хотя в действительности, узнав о том, что родители разводятся, втайне возликовал в предвкушении безграничной свободы).

— А где ты работаешь? — поинтересовалась Маргарита Сергеевна и удивленно подняла бровь, услышав, что трудится Володька в должности оператора газовой котельной, должно быть (как догадался Володька много позднее), заподозрив в нем скрытого диссидента, которые, как известно, обретались большей частью именно в котельных и угольных кочегарках, где писали гениальные стихи и рассказы; гениальные по определению, ибо писались «в стол».

— А теперь, Володя, скажи мне предельно откровенно: ты хочешь пойти в армию?

— Нет! — наверное, быстрее, чем следовало бы, выпалил Володька.

— Посиди немного, — и она начала что-то быстро строчить в журнале таким безобразным почерком, что Володьке, как ни тянул он шею, не удалось разобрать ни единого слова.

Передав журнал девице с бантом, Маргарита Сергеевна приятно ему улыбнулась и даже потрепала ладонью по рукаву.

В коридоре Володьку окликнул лысый майор.

— Эй, ты, дефективный, иди сюда. Сейчас военный билет получишь, понял? Только не убегай. Не убежишь? — смотрел он на Володьку с ненавистью.

Не было его минут двадцать. Володька за это время успел заучить весь комплекс мероприятий на случай ядерной атаки в сельской местности. О том, как спастись в условиях города, плакат на стене почему-то умалчивал.

Вернувшийся майор завел Володьку в кабинет, разделенный пополам пластиковой перегородкой с окошком. В окошке торчала женская голова.

— Вот этот, — буркнул майор.

Голова исчезла, и на ее месте появилась рука с красной книжицей и каким-то бланком.

— Расписывайся. Здесь и здесь.

Володька поставил две закорючки и вопросительно посмотрел на майора.

— Забирай билет и проваливай, — сказал тот, глядя поверх Володькиной головы. — И моли Бога...

Он не договорил, и Володька так и не узнал, за что именно должен он благодарить Создателя. Он скатился по лестнице во двор и раскрыл заветную книжицу. На двенадцатой странице, в графе «воинская специальность» лиловел вожделенный штамп: «Необученный, годный к нестроевой службе в военное время». Володька подумал, что все друзья подохнут от зависти, а мать, скорее всего, расстроится, так как давно уже свято уверовала в истинность расхожей и не совсем ясной формулировки, на которую обыкновенно уповают матери, исчерпав все прочие известные средства: «В армии из него человека сделают».

Вечером в небольшую их квартиру набилось человек пятнадцать Володькиных приятелей. Пришел и сменщик его по котельной Колька и при-

вел с собой сестру свою, Верку, буфетчицу из кафе «Фрегат», здоровую девку лет двадцати пяти с высветленными перекистью волосами, тяжелой нижней челюстью и таким пугающе-неподвижным взглядом серых с желтизной глаз, что, когда она вдруг подмигнула Володьке, он от неожиданности вздрогнул.

Уже за полночь всей толпой вывалились на улицу. Володьке смутно запомнились две стихийно возникшие драки. Потом, кажется, опять где-то пили...

Когда утром, жестоко мучаясь похмельной жаждой, Володька продрал глаза, то обнаружил, что лежит абсолютно голый на краю широкой тахты в незнакомой комнате. С левого бока что-то припекало, правый бок зябнул. Володька повернул голову и заметил на остальной постельной площади чье-то вольно раскинувшееся под одеялом большое и жаркое тело. Он вгляделся в лицо на подушке и сконфузился: лицо принадлежало Колькиной сестре. Сконфузился он оттого, что двадцатипятилетняя Верка казалась ему совершенной старухой. Он соскочил на пол и стал натягивать трусы, стараясь не глядеть в сторону кровати. Верка мгновенно открыла глаза.

— Ты куда собрался?

— Мне на смену сегодня заступать, — присипел Володька. — Слушай, а у тебя пива нет случайно?

— У меня все есть, — загадочно произнесла Верка, продолжая разглядывать его своим немигающим взглядом. — Ложись. Сегодня Колька за тебя отдежурит. А пиво я сейчас принесу, — и вдруг добавила: — Нестровой ты мой...

Весь день и следующую ночь он провел у Верки. В атмосфере такого тотального комфорта Володьке не приходилось жить никогда прежде. Верка исполняла любую его прихоть, и, наверное, при желании Володька мог бы вовсе не вылезать из мягкой, душной Веркиной постели. Через десять дней он перетащил к Верке магнитофон и зимнее пальто, а еще через два месяца они шумно отпраздновали во «Фрегате» свадьбу.

Прошло три года. Верка родила сына, еще больше раздалась вширь, и Володька выглядел рядом с ней совсем мальчишкой, хотя и сам изрядно раздобрел на дармовом пиве. Работал он по-прежнему в котельной, сутки через трое. Никаких особенных чувств он не испытывал ни к Верке, ни даже к сыну, на которого глядел иногда с некоторым недоумением, так и не сумев осознать себя в полной мере отцом семейства. Привыкший жить по инерции, он как-то очень быстро и покорно приучил себя к мысли, что смысл всей его жизни в том только и заключается, чтобы встречать Верку по вечерам после работы, по утрам варить сыну кашу, которую тот проглатывал всегда молча, глядя на Володьку таким же, как у матери, пугающе-неподвижным взглядом; допоздна торчать перед экраном телевизора, механически накачиваясь пивом...

И лишь иногда, услышав от матери, что вернулся из армии кто-то из старых приятелей, думал Володька с тихой и неясной тоской, что мог ведь и он таким вот солнечным, мягким июньским утром возвратиться домой со службы, возмужалым, сильным и свободным, с радостным осознанием того, что вся жизнь у него еще впереди — неведомая, манящая и бесконечно, бесконечно долгая...



ГЕОРГИЙ ПИЛИПЕНКО

прозаик, поэт, переводчик
член Союза журналистов Украины
штурман дальнего плавания

ИЗ КНИГИ «ОТ ОДЕССЫ ДО АНДОРРЫ»

«Евангелие от Юрия»

Мало что на свете так резко может изменить самочувствие и настроение человека, как шторм и качка. Я знал смелых и решительных людей, которые честно признавались, что боятся шторма.

Процесс «укачивания» до сих пор остается загадочным, и никто не скажет, в каких пропорциях его определяют физиология и психология.

Впервые я попал в шторм на Каспии. Мне, юному пассажиру, не хотелось признаваться в плохом самочувствии, так как я готовил себя в профессиональные моряки.

Очень был рад утреннему приходу в порт и концу мучений, о которых, однако, никому не рассказывал.

Через ряд лет, когда мечта сбылась и я был направлен мотористом на белоснежный черноморский лайнер, каспийский эпизод почти забылся.

В течение всего лета и осени я исправно бежал по верхним решеткам главного двигателя, прокручивал лубрикаторы, контролировал температуру и давление, обтирал подтеки масла, бежал наверх к утилизационному котлу, разжигал внизу вспомогательный котел. В известной мере я заменял собой автоматику, которую старший механик снял. Никакой автоматике он не доверял, а человеческий фактор уважал, особенно в виде ручного и ножного труда.

День шел за днем, неделя за неделей, никакой тебе романтики дальних странствий. И вдруг в декабрьском Эгейском море наше славное судно попало в десятибалльный шторм.

Удары волн были настолько сильны, что в одной из кают выбило стекло иллюминатора, и пришлось заделывать отверстие большим деревянным чопом.

Вокруг все скрипело, сотрясалось от ударов, судно то как бы взмывало, то проваливалось среди волн.

В духоте и шуме машинного отделения качка переносится тяжелее, и я почувствовал, как уверенно подступает «каспийский синдром». Поглядывая на часы, я думал, как бы достоять вахту.

И тут вдруг старший моторист кричит: «Юрка, твою так, ставь живо хомут, трубопровод горячей воды гавкнулся!»

Хомут, слава богу, я ставить умел и, обжигаясь горячей водой, к концу вахты залатал и обжал треснувший трубопровод.

Пока ставился хомут, все мое внимание было целиком поглощено работой, и по завершении я обнаружил, что кроме прилива радости ничего не испытываю. Вроде бы и никакой качки. Шире расставляя ноги на пляшущей палубе, я пошел после вахты «в душ и в койку».

После этого эпизода я много лет еще работал на различных судах, попадал в различные ситуации, но более никогда не укачивался.

В связи с этим вспоминается история, которая произошла на переходе Пирей–Неаполь, где можно встретить всякую погоду.

Несколько дней до этого перехода погода баловала туристов. В основном это были французы, и, расслабившись на отдыхе, они вели себя как дети.

На палубе у бассейна они плескались друг в друга водой, хохотали, носились по судну, заглядывая куда надо и не надо. Когда звучало приглашение на обед, они эдаким паровозиком, держа друг друга сзади за рубашку, вприпрыжку вкатывались в ресторан. При этом возраст не имел значения, а молодость души не знала границ.

Члены экипажа, дорожившие работой в заграничии и свято соблюдавшие Устав службы и Правила поведения советского моряка за границей, с интересом наблюдали эту раскованность духа.

Мы, конечно, знали, что «никто на свете не умеет лучше нас смеяться и любить». Но сознавали, что это разрешено дома, а не на глазах иностранцев. Как говорил наш подшкипер «кесарю — кесарево, слесарю — слесарево».

Итак, веселье продолжалось.

Однако в этом буйном празднике летних нарядов, ярких красок, французского юмора, белоснежных улыбок, шоколадного загара и морских брызг выделялся одинокий человек в сером костюме. Он был небольшого роста, подчеркнута аккуратен, молчалив. Серый костюм в какой-то мере оправдывал горб на спине. Обычно он сидел поодаль от всех, в тени, молча наблюдал чужое веселье и время от времени нервно поправлял галстук. Звали его Роже.

Сохранись хорошая погода до конца рейса, так бы все и шло: туристы на отдыхе, экипаж при исполнении. Роже в тени, в костюме и галстук.

Однако после выхода из Пирея, на подходе к мысу Матапан задул ветер, солнце скрылось за свинцовыми облаками, стихия разыгралась до восьми баллов.

Судно наше было не из новых, стабилизаторов качки не имело. Все было как в песне « Волны пенятся, мачты кренятся, ветер гонит облака».

Воду из бассейна пришлось выпустить, шезлонги закрепить по-походному, на скользкой палубе — натянуть леера и ограждения.

Официанты намочили скатерти, чтобы тарелки не скользили, но уже никакие «паровозики» в ресторан вприпрыжку не вкатывались, и ресторан превратился в пустынное депо. В вестибюле для желающих выставили блюдо с сухариками.

Некогда бодрые туристы в большинстве своем стали похожими на мокрых птичек и от ритма всеобщего веселья, разобрав гигиенические пакеты, перешли в режим индивидуальной борьбы с личными ощущениями.

Кто залег в постель, кто сидел на корточках в углу каюты, кто искал спасения на палубе, закутавшись в плед, кто побрел в амбулаторию, надеясь на чудодейственные таблетки.

В этих условиях тщедушный Роже преобразился. Он, казалось, даже стал чуть прямее. Он носился по палубам, от бака к корме, с левого борта на правый. Он находил для всех и каждого нужные слова, подносил сухарики, маслины, галеты, корнишоны. Одних он убеждал в пользе точечного массажа на кистях и ступнях, демонстрировал регуляцию вестибулярного аппарата с помощью нужных точек.

Другим он рекомендовал создать из сухариков защитную массу в желудке, которая всасывает желудочный сок, сводя к нулю потребность в гигиенических пакетах.

Периодически он появлялся на мостике, подмигивал штурманам и говорил:

— Са ва бьен! — Все идет нормально.

Всем своим видом он как бы показывал нам, что мы едины и, пока мы вместе, нам ничего не страшно, не пропадем.

Затем он возвращался к туристам и рассказывал, что только что был на капитанском мостике, — все нормально, как обычно. В этом районе слегка покачивает, но прогноз хороший, ожидаем улучшения погоды. Еще немножко. Все будет хорошо.

Воздействие Роже на туристов было благотворным. Он отвлекал, помогал, вселял уверенность. Его уже ждали.

— Ну, что там? Какие прогнозы?

— Шторм идет на убыль, — отвечал Роже. — Даже хорошо, что немного покачало. Все нужно испытать, иначе что за путешествие? А вина пить не надо. В нем — кислота. Коньячок можно, и после него хорошо бы уснуть. Разрешите, я вам поправлю плед. Можно, я вам разомну кисть? Вот, хорошо. Руки потептели, лицо порозовело. Вам ведь и вправду лучше?

Роже был неутомим, и во время его очередного визита на мостик я спросил:

— Месье Роже, как вы сами себя чувствуете?

Он впервые засмеялся и искренне ответил:

— А мне некогда об этом думать, во сколько туристов! Ну, я побежал, они ждут...

Утром следующего дня мы входили в Неаполитанский залив — зеркальная гладь воды, ясное небо, четкие очертания островов Искья и Капри.

На палубе, залитой солнцем, встряхнув перышки, снова защебетали повеселевшие туристы. Вот уже послышался смех, парочки всех возрастов

уже расположились под зонтиками и принялись за утренний кофе. После штормовой встряски все еще больше полюбили жизнь. Постепенно все возвращалось на круги своя.

А в тени в сером костюме снова сидел Роже и нервно поправлял галстук.

В следующем круизе намечался религиозный праздник, и французская дирекция пригласила в рейс священника. Свои мессы кюре должен был слушать в кинозале.

Вечером, когда мы вместе осматривали кинозал, я рассказал ему историю о Роже.

— Юрий,— спросил меня священник, — можно я расскажу об этом нашим туристам?

— Ради Бога,— ответил я.

В своей утренней проповеди кюре поведал рассказанную ему историю, как притчу.

— Откуда это? — спросили туристы.

— Это — евангелие от Юрия, — ответил священник..

Золотые россыпи на морских дорогах (Из цикла «Астра и астрийцы»)

1. После приобретения в Бюро дирекции круиза справочника «Испания. Андорра»:

— Скажите, пожалуйста, а мы в Андорру заходим?

— Нет, не заходим.

— А почему?

— Потому что в Андорре нет порта.

— До сих пор? — Да.

— А почему же не предупредили?

— Забыли.

— А почему же тогда продают справочник?

— А вот продадим справочник и на вырученные деньги построим порт.

— Спасибо.

— Пожалуйста.

2. На подходе к Версалю:

— Скажите, это кто изображен на памятнике, маршал Жуков?

— Нет, это Людовик XIV.

— А почему он на лошади?

— Он любил лошадей.

— А почему любил?

— Он уже умер.

— Что вы говорите?.. Ах да, я слышала... Говорят, был хороший человек...

— Да, любимец народа.

— Как Ив Монтан?

— Нет, как Сара Бернар.

3. В оранжерее Версаля:

Экскурсовод рассказывает, что Людовик XIV обожал цветы. Каждое утро, к 6 часам, придворные садовники должны были высаживать новые цветочные клумбы, пользуясь оранжереей из 900 000 горшков с различными цветами. Король требовал каждый раз новую гамму цветов и запахов.

Опоздавшая туристка переспрашивает у другой, кивая в сторону экскурсовода:

— Что она сказала?

— А она сказала, что их четырнадцатый требовал каждое утро горшки с новыми запахами...

4. После прогулки по Сене:

— Не прогулка, а сплошное издевательство, возмущается туристка. — В кои-то веки попадешь в Париж — и все скомкано! По громкой трансляции идет непрерывное объяснение на восьми языках кроме русского. Когда пытаешься что-то понять по-испански, то оказывается, что еще до моста Александра III не доехали, а когда начинаешь, наконец, что-то понимать по-японски, то оказывается, уже давно проехали. А тут, еще пока сидишь на кораблике, надо успеть холодную курицу из ланч-пакета съесть обязательно.

Так и непонятно, где у них Плас, где — Пигаль, где — Гранд, где — Опера, где — Тур, где — Эйфель, где — Нотр, где — Дам, где — Сакре, где — Кер, где — Шамп, где — Элизе; что — слева, что — справа. Слава Богу, хоть ланч-пакет доесть успела.

5. На Эйфелевой башне:

— Скажите, а Бастилия видна отсюда?

— Плохо. Жалкие остатки в тумане.

— А Монмартр?

— Хорошо виден, вот где белый купол Сакре-Кер.

— А Марсово поле?

— Оно прямо под нами.

— А Эйфелева башня отсюда видна?

Имея привычку отвечать на все вопросы, я механически говорю:

— Конечно, видна, но лучше всего смотреть со стороны дворца Шайо.

Идемте, я вас проведу.

Мы делаем полукруг по верхней площадке, доходим до места обзора дворца Шайо, смотрим, а Эйфелевой башни — нет! Исчезла! И тут я начинаю вникать в суть происходящего и говорю туристу:

— Мы с вами уже оба в облаках. Мы же на ней, на этой самой башне уже полчаса стоим.

Наверно, от высоты голова пошла кругом.

6.

— Скажите, вот экскурсовод говорит — с левой стороны. Это где?

— Это слева.

- Спасибо.
- Пожалуйста.

7.

- А девять тысяч по-ихнему это сколько?
- Девять тысяч.
- Смотрите. Все как у нас.

8. Свидание в Руане:

— Можно, я с Вами доеду экскурсионным автобусом до Руана? Только доеду и все. У меня там встреча. Из Парижа приедет родственник. Просто ему до Руана ближе, чем до Гавра.

— Хорошо, поехали.

— Понимаете, ни он, ни я никогда не были в Руане. Поэтому назначили свидание на самом известном месте — где сожгли Жанну Д'Арк. Мы там будем?

— Да, в конце экскурсии.

Далее, в процессе экскурсии, через каждые 10 минут:

— Скажите, это не здесь сожгли Жанну Д'Арк?

— Нет, пока не здесь.

Спустя какое-то время:

— А вы уверены, что ее сожгли в этом городе?

— Уверен.

— Вы читали или Вам рассказывали?

— И читал, и рассказывали... очевидцы.

— Нет, вы меня поймите. Если окажется, что ее здесь не сожгли, где же я встречусь со своим родственником?

9. Джинсы, бистро, Гран-Опера:

— Скажите, а как по-французски слаксы?

— И джинсы, и слаксы, — так и будет.

— И, если я им скажу «слакс», они меня поймут?

— Поймут.

— А как по-ихнему пеньюар?

— Пеньюар.

— И, если я скажу пеньюар, они меня поймут?

— Поймут.

— А как они поймут? Они что, выучили русский?

— Нет, по-французски тоже пеньюар.

— Как у них много наших слов! Скажите, а как по-французски Гран-Опера?

— Гран-Опера.

— Вы что, надо мной смеетесь?

— Да нет. Это — французское выражение. Мы у них взяли.

— А, понимаю. Мы им дали наше слово «бистро», а они нам — «Гран-Опера».